Скорбь Сатаны

Автор:
Мария Корелли

Скорбь Сатаны

Мария Корелли

Зарубежная классика (АСТ)

Молодой писатель Джеффри Темпест, прозябающий в нищете и безвестности, продает душу Сатане и получает от Князя Тьмы все, о чем только мечтал… точнее, почти все.

Теперь светское общество, ранее им пренебрегавшее, лежит у его ног. К его услугам несметное состояние, любовь прекрасной девушки, роскошь и удовольствия.

Но много ли это значит, если утрачено главное, ради чего Джеффри жил, – его талант?..

Мария Корелли

Скорбь Сатаны

Marie Corelli

THE SORROWS OF SATAN

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

I

Знаете ли вы, что значит быть бедным? Быть бедным не той бедностью, на которую некоторые люди жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным – ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унизительна и тягостна, – бедность, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает вас в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я разумею. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую в роскошной коляске, лениво развалясь на подушках, с лицом, раскрасневшимся от пресыщения; когда он замечает безмозглого и чувственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших классов», – тогда его кровь превращается в желчь и страдающая душа возмущается и вопиет:

– Зачем такая несправедливость во имя Божие? Зачем недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, когда я, работая без устали с утра до ночи, едва в состоянии иметь обед?

Зачем, в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но… на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда – более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны

пороком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие находятся в подобном положении. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни – по порядку, как они происходили, – предоставляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

Во время одной жестокой зимы, памятной ее полярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою леденящую силу не только на счастливые Британские острова, но и на всю Европу, я, Джеффри Темпест, был один в Лондоне, почти умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает симпатию, какую он заслуживает, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, – самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им расскажут про голодных бедняков, точно это была выдуманная шутка для послеобеденного развлечения. Или с раздражающе важным вниманием, характеризующим аристократов, которые, задав вопрос, не ждут ответа или не понимают его, хорошо пообедавшие, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянно пробормочут: «Как ужасно!» – и сейчас же возвратятся к обсуждению последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их настоящей скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором я говорю, я, сделавшийся с тех пор одним из людей, наиболее вызывающих зависть, – я узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, – все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастию, день ото дня подготовлялся к ним, но, может быть, они много больнее для того, кто получил нежное

воспитание и считал себя «джентльменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой я очутился. Я усидчиво работал. После смерти моего отца, когда я открыл, что каждое пенни из его воображаемого состояния принадлежало кредиторам и что из нашего дома и имения мне ничего не осталось, кроме драгоценной миниатюры моей матери, потерявшей жизнь, произведя меня на свет, – с того времени, говорю я, мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, я имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой лондонской газете. Во многих редакциях мне отказали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Кто бы ни искал заработка одной головой и пером, в начале этой карьеры с ним будут обращаться как с парией общества. Никому он не нужен, все презирают его. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а его тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пытки, и удары, и продолжал жить – не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет, что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, – это было прозябание, и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробегать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, так случайно выбранными; остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некоторое время, чтобы понравиться моему редактору, который платил мне щедрый гонорар в пятнадцать шиллингов за мой еженедельный труд.

Но однажды, вняв голосу совести, я изменил тактику и горячо похвалил работу, которая была и оригинальна, и прекрасна. Автор ее оказался врагом журнала, где я работал. Результатом моей хвалебной рецензии произведения ненавистного субъекта было то, что личная злоба издателя взяла верх над

добросовестностью, и я лишился заработка. После этого мне пришлось влачить бедственную жизнь наемного писателя, живя обещаниями, которые никогда не выполняются, пока, как я сказал, в начале января, в разгар лютой зимы, я не очутился буквально без гроша, лицом к лицу с голодной смертью, задолжав месячную плату за свою убогую квартирку, которую я занимал на одной из глухих улиц, недалеко от Британского музея.

Целый день я бродил из одной газетной редакции в другую, ища работу и не находя ее. Все места были заняты. Так же безуспешно пробовал я представить свою рукопись, но «лекторы» в редакциях нашли ее особенно бездарной. Большинство из этих «лекторов», как я узнал, были сами романисты, которые в свободное время прочитывали чужие произведения и произносили свой приговор. Я никогда не мог найти справедливости в такой системе. Мне кажется, что это – просто-напросто покровительство посредственности и подавление оригинальности. Романист-«лектор», который добивается места в литературе для самого себя, естественно, скорее одобрит заурядную работу, чем ту, которая могла бы оказаться выше его собственной. Хороша или дурна эта система, но для меня и для моего литературного детища она была вредна.

Последний редактор, к которому я обратился, по-видимому, был добрый человек; он смотрел на мое потертое платье и изнуренное лицо с некоторым состраданием.

– Мне очень жаль, – сказал он, – но мои «лекторы» единогласно отвергли вашу работу. Мне кажется, вы слишком серьезны и резко ратуете против общества. Это непрактично. Не следует никогда осуждать общество: оно покупает книги. Вот если можете, напишите остроумную любовную историйку, слегка рискованную: этого рода произведения имеют наибольший успех в наше время.

– Извините меня, – возразил я нерешительно. – Но уверены ли вы, что судите правильно о вкусах публики?

– Конечно, я уверен, – ответил он. – Моя обязанность – знать вкус публики так же основательно, как свой собственный карман. Поймите меня, я не советую, чтобы вы писали книгу положительно непристойного содержания, – это можно смело оставить для «Новой женщины». – Он засмеялся. – Уверяю вас, что классические произведения не имеют сбыта. Начать с того, что критики не любят их. То, что доступно им и публике, – это отрывок сенсационного реализма, рассказанный в элегантной английской газете. В «Литературной» или в газете Эддисона это

будет ошибкой.

– Я думаю, что и я сам – тоже ошибка, – сказал я с натянутой улыбкой. – Во всяком случае, если то, что вы говорите, правда, я должен бросить перо и испробовать другое занятие. Я устарел, считая литературу выше всех профессий, и я скорее бы предпочел не связывать ее с теми, кто добровольно унижает ее.

Он бросил на меня искоса быстрый взгляд – полунедоверчивый, полупрезрительный.

– Хорошо, хорошо! – наконец заметил он. – Вы немного экстравагантны. Это пройдет. Не хотите ли пойти со мной в клуб и вместе пообедать?

Я отказался от этого приглашения. Я сознавал свое несчастное положение, и гордость – ложная гордость, если хотите, – поднялась во мне. Я поспешил проститься и поплелся домой со своей отвергнутой рукописью. Придя домой, я встретил на лестнице мою квартирную хозяйку, которая спросила, «не буду ли я так добр свести с ней завтра счета». Она говорила довольно вежливо, бедная душа, и не без некоторой нерешительности. Ее очевидное сострадание укололо мое самолюбие так же, как предложенный редактором обед ранил мою гордость, и с совершенно уверенным видом я сейчас же обещал ей уплатить деньги в срок, ею самою назначенный, хотя у меня не было ни малейшего представления, где и как я достану требуемую сумму.

Войдя в свою комнату, я швырнул бесполезную рукопись на пол, бросился на стул… и выругался. Это облегчило меня, и понятно, так как хотя я и ослабел временно от недостатка пищи, но не настолько, чтоб проливать слезы, и сильное грозное ругательство было для меня такого же рода лекарством, каким, я думаю, бывают слезы для взволнованной женщины. Как я не мог плакать, так я не был способен обратиться к Богу в моем отчаянии. Говоря откровенно, я тогда не верил в Бога. Я был самонадеянным смертным, презирающим изношенные временем суеверия.

Конечно, я был воспитан в христианской вере, но эта вера сделалась для меня более чем бесполезной. Умственно – я находился в хаосе. Морально – мне мешали идеи и стремления. Мое положение было безнадежно, и я сам был безнадежен.

А между тем я чувствовал, что сделал все, что мог. Я был прижат в угол моими собратьями, которые оспаривали мое место в жизни. Но я боролся против этого: я работал честно и терпеливо; и все напрасно.

Я слыхал о мошенниках, которые получали большие деньги; о плутах, которые наживали огромные состояния. Их благоденствие доказывает, что честность в конце концов не есть лучшая система.

Что же было делать? Как начать иезуитскую деятельность, чтобы, сделав зло, получить добро? Так я думал – если эти безумные фантазии заслуживали названия дум. Ночь была особенно холодная. Мои руки онемели, и я старался согреть их у масляной лампы, которою моя квартирная хозяйка, по доброте своей, позволяла мне пользоваться, несмотря на отсроченный платеж.

Сделав это, я заметил три письма на столе: одно в длинном синем конверте, заключающее или вызов в суд, или возвращенную рукопись, другое – с маркой из Мельбурна, а третье – толстый квадратный пакет с золоченой коронкой.
Я смотрел на все три равнодушно и, выбрав то, что было из Австралии, вертел в руках одну секунду, прежде чем распечатать его.

Я знал, от кого оно, и не ждал приятных известий. Несколько месяцев тому я написал подробный рассказ о моих увеличивающихся долгах и затруднениях одному старому школьному товарищу, который, найдя Англию слишком тесной для своего честолюбия, уехал в более широкий Новый Свет для разработки золотых приисков. Как мне было известно, он преуспел в своем предприятии и достиг солидного независимого положения. Поэтому я рискнул обратиться к нему с просьбой одолжить мне пятьдесят фунтов стерлингов. Здесь, без сомнения, был его ответ, и я колебался, прежде чем вскрыть конверт.

– Конечно, будет отказ, – сказал я почти громко.

Как ни был расположен приятель при других обстоятельствах, но при просьбе одолжить денег он непременно окажется черствым. Он выразит свои сожаления, обвинит профессию и вообще плохие времена и обнадежит, что все скоро перемелется. Мне это было хорошо известно. В конце концов, почему я должен думать, что он не такой, как все? Я не имею на него иных прав, кроме воспоминаний о нескольких сентиментальных днях в Оксфорде.

Против воли у меня вырвался вздох, и на секунду глаза заволоклись туманом. Опять я видел серые башни мирной Магдалины, чудесные зеленые деревья, покрывавшие тенью дорожки внутри и кругом старого дорогого университетского города, где мы – я и человек, чье письмо я сейчас держал в руке, – вместе бродили, счастливые юноши, воображая себя молодыми гениями, родившимися, чтобы преобразовать мир. Мы оба любили классиков – мы были полны Гомером и мыслями и принципами всех бессмертных греков и римлян. И я верю, что в те далекие мечтательные дни мы думали, что в нас было то вещество, из которого создаются герои. Но вступление на общественную арену скоро разрушило наши высокие фантазии; мы оказались обыкновенными рабочими единицами, не более; проза ежедневной жизни отстранила Гомера на задний план, и мы вскоре открыли, что общество более интересовалось последним скандалом, чем трагедиями Софокла или мудростью Платона. Без сомнения, было крайне глупо мечтать, что мы могли преобразовать свет, тем не менее самый закоренелый циник вряд ли станет отрицать, что отрадно оглянуться назад, на дни юности, когда, быть может, только один раз в жизни он имел благородные стремления. Лампа горела скверно, и мне пришлось заправить ее, прежде чем приступить к чтению письма моего друга.

В следующей комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Нежные звуки лились из-под смычка, и я слушал, безотчетно радуясь. Ослабев от голода, я впал в какое-то состояние, доходившее до оцепенения, и проникающая мелодия, вызывая во мне эстетичные и сладостные чувства, укротила на мгновение ненасытное животное, требующее пищи.

– Играй, играй! – пробормотал я, обращаясь к невидимому музыканту. – Ты упражняешься на своей скрипке, без сомнения, для заработка, поддерживающего твое существование. Возможно, что ты какой-нибудь бедняга в дешевом оркестре или, может быть, даже уличный музыкант, принужденный жить по соседству с «джентльменом», умирающим от голода; у тебя не может быть надежды когда-нибудь войти в моду и играть при дворе; если же ты надеешься на это, то это безумно! Играй, дружище, играй! Звуки, что ты извлекаешь, очень приятны и заставляют думать, что ты счастлив, хотя я сомневаюсь в этом. Или и у тебя пошло все прахом?

Музыка стихала и становилась жалобнее; ей теперь аккомпанировал шум града по оконным стеклам. Ветер со свистом врывался в дверь и взвывал в камине – ветер, холодный, как дыхание смерти, и пронизывающий, как игла. Я дрожал и, нагнувшись к коптящей лампе, приготовился читать.

Едва я разорвал конверт, как оттуда выпал на стол чек на пятьдесят фунтов, которые я мог получить в хорошо известном Лондонском банке. Мое сердце дрогнуло от облегчения и благодарности.

– Я был несправедлив к тебе, старый товарищ! – воскликнул я. – У тебя есть сердце!

И, глубоко тронутый великодушием друга, я внимательно прочел его письмо. Оно было не очень длинно и, очевидно, написано второпях.

Дорогой Джефф!

Мне больно слышать, что ты находишься в затруднительных обстоятельствах; это показывает, что глупые головы еще процветают в Лондоне, если человек с твоими дарованиями не может занять принадлежащего ему места на литературном поприще. Я думаю, что тут весь вопрос в интригах и только деньги могут их остановить. Здесь пятьдесят фунтов, которые ты просил: не спеши возвращать их. Я хочу тебе помочь в этом году, посылая тебе друга – настоящего друга, заметь! Он передаст тебе рекомендательное письмо от меня, и, между нами, старина, ты ничего лучшего не сделаешь, как если доверишь ему всецело твои литературные дела. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. Кроме того, он большой филантроп и имеет особенную склонность к общению с духовенством.

Странный вкус, ты скажешь, но он мне совершенно откровенно объяснил причину такого предпочтения. Он так чудовищно богат, что буквально не знает, куда девать деньги, а достопочтенные джентльмены церкви всегда охотно указывают ему способы растрачивать их. Он всегда рад узнать о таких кварталах, где его деньги и влияние (он очень влиятелен) могут быть полезны для других. Он помог мне выпутаться из очень серьезного затруднения, и я у него в большом долгу. Я ему все рассказал о тебе и о твоих талантах, и он обещал поднять тебя. Он может сделать все, что захочет; весьма естественно, так как на свете и нравственность, и цивилизация, и все остальное подчиняются могуществу денег, а его касса, кажется, беспредельна. Воспользуйся им – он сам этого желает – и напиши мне, что и как. Не хлопочи относительно пятидесяти фунтов, пока не почувствуешь, что гроза тебя миновала.

Твой всегда,

Босслз.

Я засмеялся, прочитав нелепую подпись, хотя мои глаза были затуманены чем-то вроде слез. «Босслз» было прозвище, данное моему другу некоторыми из наших школьных товарищей, и ни он, ни я не знали, как оно впервые возникло. Но никто, кроме профессоров, не обращался к нему по имени, которое было Джон Кэррингтон; он был просто Босслз, и Босслзом он остался даже теперь для своих задушевных друзей. Я сложил и спрятал его письмо вместе с чеком и, размышляя, что за человек мог быть этот «филантроп», который не знает, что делать с деньгами, принялся за два других пакета. Я чувствовал с облегчением, что теперь, что бы ни случилось, я могу завтра оплатить счет квартирной хозяйке, как обещал. Кроме того, я мог заказать ужин и зажечь огонь, чтобы придать более веселый вид моей холодной и неуютной комнате.

Но прежде чем воспользоваться этими благами жизни, я вскрыл длинный синий конверт, который выглядел как угроза судебного протокола, и, развернув бумагу, смотрел на нее в изумлении. Что это значит? Буквы прыгали перед моими глазами; в недоумении и замешательстве я перечитывал ее снова и снова, ничего не понимая. Но вскоре мелькнувшая мысль осенила меня, переполошив мои чувства, как электрический удар… Нет! Нет! Фортуна не могла быть так безумна! Так странно капризна! Это была какая-нибудь бессмысленная мистификация… А между тем… если это была шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона! Клянусь, новость казалась положительно достоверной!

II

Приведя, не без усилия, в некоторый порядок свои мысли, я перечел внимательно каждое слово документа, и мое изумление возросло. Сходил ли я с ума или начинал страдать лихорадкой? Могло ли это поразительное, ошеломляющее известие быть настоящей правдой? Потому что если в самом деле это была правда… Бог мой! При этой мысли у меня кружилась голова, и только истинная сила воли удерживала меня от обморока, так сильно я был взволнован неожиданным сюрпризом и восторгом.

Если это была правда, ведь тогда свет был бы мой! Я был бы королем вместо того, чтобы быть нищим; я был бы всем, чем только захотел бы быть! Письмо, это изумительное письмо, было помечено именем известной фирмы лондонских присяжных поверенных и объявляло в размеренных и точных выражениях, что дальний родственник моего отца, о котором я смутно слыхал лишь время от времени в детстве, скоропостижно скончался в Южной Америке, оставив меня своим единственным наследником.

Движимое и недвижимое имущество превышает теперь пять миллионов фунтов стерлингов. Вы нас обяжете, если найдете удобным посетить нас на этой неделе, чтобы вместе совершить необходимые формальности. Большая часть капитала находится в Английском банке, и значительная сумма помещена под гарантии французского правительства. Мы бы предпочли дать дальнейшие подробности вам лично, а не письменно. В уверенности, что вы посетите нас безотлагательно, мы остаемся, сэр, вашими покорными слугами…

Пять миллионов! Я, умирающий с голоду наемный писатель без друзей и без надежд, завсегдатай низких газетных притонов, я – владелец «более пяти миллионов фунтов стерлингов»! Я хотел верить в поразительный факт, так как факт, очевидно, был, – но не мог. Он казался мне дикой иллюзией, плодом помутившегося от голода рассудка. Я оглядел комнату: убогая мебель, холодный камин, грязная лампа, низкая выдвижная кровать – все говорило о бедности и нужде, и подавляющий контраст между окружающей меня нищетой и только что полученной новостью поразил меня, как самая дикая и странная несообразность, которую я когда-либо слышал или воображал, – и я разразился хохотом.

– Был ли когда подобный каприз безрассудной фортуны? – крикнул я громко. – Кто бы вообразил это! Бог мой! Я, я! Из всех людей на свете выбран для этого счастия! Клянусь небом, если это правда, то общество под моей рукой завертится, как волчок, прежде чем пройдут месяцы.

И я опять громко смеялся; смеялся так же, как раньше бранился, – просто чтобы облегчить свои чувства. Кто-то засмеялся в ответ смехом, казавшимся смехом

лешего. Я внезапно остановился, чего-то страшась, и прислушался. Дождь лил, и ветер бушевал, как сердитая сварливая женщина; скрипач в соседней комнате выводил блестящие рулады на своем инструменте, но кроме этого, не было слышно других звуков. Между тем я мог бы поклясться, что слышал человеческий смех позади себя, когда я стоял.

– Это, должно быть, мое воображение, – пробормотал я, прибавляя огонь в лампе, чтобы больше осветить комнату. – Без сомнения, у меня расстроены нервы! Бедный Боссlз! Добрый старина! – продолжал я, вспомнив чек на пятьдесят фунтов, который казался мне манной небесной несколько минут тому назад. – Какой сюрприз в запасе для тебя! Ты получишь обратно свою ссуду так же скоро, как прислал ее, с прибавкой других пятидесяти фунтов, как процент за твое великодушие. Что же касается до нового мецената, которого ты посылаешь, чтобы помочь мне в затруднениях, он, наверное, окажется прекрасным старым джентльменом, но на этот раз не попадет в свою стихию. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в совете, ни в покровительстве! Я могу купить все это! Имя, почет и власть – все продажно в наш удивительно коммерческий век и поднимается до самой высокой цены! Клянусь душой! Богатому «филантропу» будет нелегко состязаться со мной в могуществе! Я ручаюсь, что вряд ли он имеет больше пяти миллионов! А теперь ужинать; я буду жить в кредит, пока не получу сколько-нибудь наличных, и нет причины, почему бы мне сейчас не покинуть эту нищенскую конуру и не отправиться в один из лучших отелей.

Я уже хотел оставить комнату под влиянием возбуждения и радости, как новый порыв ветра заревел в комнате, принеся с собой целый столб сажи, которая упала черной кучей на мою отвергнутую рукопись, забытую на полу, куда в отчаянии я ее тогда бросил. Я быстро поднял ее и очистил от грязи, размышляя о том, какая судьба постигнет ее теперь – теперь, когда я сам мог ее издать, не только издать, но рекламировать и сделать ее предметом внимания. Я улыбался при мысли, как я отомщу тем, кто отнесся с пренебрежением и презрением ко мне и к моему труду, – как они будут приседать передо мной! Как они будут вилять хвостами у моих ног, как побитые дворняжки. Самая упорная и непреклонная шея согнется передо мной! В этом я был уверен, так как, хотя деньги не всегда покоряют все, они не преуспевают лишь в том случае, когда при деньгах отсутствует ум. Ум и деньги вместе могут двигать миром.

Полный честолюбивых мыслей, я время от времени улавливал дикие звуки скрипки, на которой играли рядом, – звуки то рыдали, как плач скорби, то вдруг

звенели, как беспечный смех женщины, – и внезапно я вспомнил, что еще не распечатал третье письмо, адресованное мне, с золоченой короной, которое оставалось на столе, до сих пор почти не замеченное.

Я неохотно взял его и медленно разорвал толстый конверт. Развернув толстый небольшой лист бумаги, также с короной, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким, мелким и красивым почерком:

Дорогой сэр!

Я имею к вам рекомендательное письмо от вашего бывшего школьного товарища мистера Джона Кэррингтона, который был так добр, доставив мне случай познакомиться с тем, кого я считаю необыкновенно одаренным всеми талантами литературного гения. Я буду у вас сегодня вечером, между восемью и девятью часами, надеюсь застать вас дома и незанятым. Прилагаю мою карточку и настоящий адрес и остаюсь преданный вам

Лючио Риманец.

Упомянутая карточка упала на стол, когда я заканчивал читать письмо; на ней стояла маленькая изящно выгравированная корона и слова:

Князь Лючио Риманец

А внизу карандашом был нацарапан адрес: «Гранд-отель».

Я перечел краткое письмо еще раз; оно было достаточно просто, написано ясно и вежливо. Ничего не было замечательного, решительно ничего; между тем оно казалось мне многозначительным. Я не мог дать себе отчет почему.

Странное очарование приковывало мои глаза к характерному смелому почерку и заставляло думать, что я полюблю человека, написавшего так. Как ветер завывал! И как стонала рядом эта скрипка, точно беспокойный дух какого-нибудь молящегося забытого музыканта! Моя голова кружилась, и мое сердце

ныло. Стук дождевых капель звучал точно крадущиеся шаги тайного шпиона, следящего за моими движениями.

Я сделался раздражителен и нервен – предчувствие какого-то зла омрачило светлое сознание неожиданного счастия. Тогда мною овладел стыд – стыд, что этот иностранный князь, если он был таковым, со своим колоссальным богатством, посетит меня, теперь миллионера, в этом нищенском жилище. Прежде чем коснуться своих богатств, я уже заразился пошлостью, стараясь претендовать, что я никогда не был действительно беден, но только временно находился в затруднительном положении!

Если бы я имел шесть пенсов, которых у меня не было, я бы послал телеграмму, чтоб отсрочить предстоящий визит.

– Но, во всяком случае, – сказал я громко, обращаясь к пустой комнате и отголоскам грозы, – я не хочу встретиться с ним сегодня. Я уйду из дому и не оставлю записки, и если он придет, то подумает, что я еще не получил его письмо. Я могу условиться для свидания с ним, когда у меня будет лучшая квартира и более подходящий костюм для моего теперешнего положения. Тем временем ничего нет легче, как скрыться от этого так называемого благодетеля.

Пока я говорил, мерцающая лампа со зловещим треском погасла, оставив меня в абсолютной темноте.

Выругавшись от досады, я принялся ощупью разыскивать спички или, не найдя их, шляпу и пальто. Я еще был занят бесполезными и скучными поисками, когда до меня долетел звук быстро несущихся конских копыт, остановившихся внезапно внизу, на улице. Окруженный непроглядным мраком, я стоял и прислушивался. Там, внизу, происходило легкое смятение; я слышал нервную от избытка учтивости интонацию моей квартирной хозяйки, смешанную со звучными нотами сильного мужского голоса, и твердые шаги поднимались по лестнице к моей комнате.

– Тут сам черт вмешался! – проговорил я сквозь зубы. – Так же, как мое капризное счастье! Сюда идет тот самый человек, которого я хотел избежать.

III

Дверь отворилась, и из окутывавшей меня темноты я мог заметить высокую фигуру, стоящую на пороге. Я хорошо помню то странное впечатление, которое на меня произвело само очертание этого едва различимого образа. С первого же взгляда такая величественность в росте и манерах приковала тотчас все мое внимание, так что я едва слышал слова квартирной хозяйки:

– Господин желает вас видеть, сэр!

Слова, которые быстро прервались смущенным бормотаньем при виде моей комнаты во мраке.

– Наверно, лампа погасла! – воскликнула она и прибавила, обращаясь к приведенному посетителю:

– Пожалуй, мистера Темпеста нет дома, хотя я видела его полчаса тому назад. Если вы согласитесь подождать здесь минутку, я принесу лампу и посмотрю, не оставил ли он на столе записку.

Она поспешно вышла, и хотя я знал, что должен был заговорить, но какое-то особенное и совершенно необъяснимое злобное настроение заставляло меня молчать и не открывать своего присутствия. Тем временем высокий незнакомец сделал шаг или два вперед и звучный голос с оттенком иронии окликнул меня по имени:

– Джеффри Темпест, вы здесь?

Почему я не мог ответить? Странное и неестественное упрямство связало мой язык, и, скрытый во мраке моего жалкого литературного логовища, я продолжал молчать. Величественная фигура придвинулась ближе, и мне показалось, что она вдруг как бы покрыла меня своей тенью. И еще раз голос позвал:

– Джеффри Темпест, вы здесь?

Из чувства стыда я не мог более так оставаться и с решительным усилием сбросил с себя эти странные чары, делавшие меня немым, и, точно

притаившийся в глухом убежище трус, несмело вышел вперед и стал перед моим гостем.

– Да, я здесь, – сказал я, – и, будучи здесь, стыжусь такого приема. Вы, конечно, князь Риманец: я только что прочел вашу записку, уведомляющую меня о вашем визите, но я надеялся, что, найдя комнату в темноте, моя квартирная хозяйка решит, что меня нет дома, и проводит вас обратно вниз. Вы видите, я совершенно откровенен!

– Действительно, – ответил незнакомец, и его густой голос вибрировал серебристыми звуками, скрывая насмешку. – Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Вы досадовали на мой сегодняшний визит и желали, чтоб я не пришел!

Это разоблачение моего настроения звучало так резко, что я поспешил отрицать его, хотя и сознавал, что это была правда. Правда даже в мелочах всегда кажется неприятной!

– Пожалуйста, не сочтите меня грубияном! – сказал я. – Но дело в том, что я распечатал ваше письмо лишь несколько минут тому назад, прежде чем я мог все привести в порядок, чтоб принять вас. Лампа погасла так некстати, что я принужден теперь приветствовать вас, против правил общества, в темноте, которая даже мешает нам пожать друг другу руки.

– Попробуем? – спросил мой гость, и звук его голоса смягчился, придавая особенную прелесть его словам. – Моя рука здесь; если в вашей есть немного дружелюбного инстинкта, они встретятся совершенно наудачу, безо всякого управления.

Я протянул свою руку, и она тотчас же почувствовала теплое и несколько властное пожатие. В этот момент комната осветилась; квартирная хозяйка вошла, неся, как она называла, «свою лучшую лампу», и поставила ее на стол. Я думаю, она воскликнула от удивления при виде меня, она, быть может, даже сказала что-нибудь, – но я не слыхал и не обращал внимания, так как я был поражен и очарован наружностью человека, большая и гибкая рука которого еще держала меня. Я сам довольно высокого роста, но он был на полголовы, если не более, выше, и, когда я смотрел прямо на него, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько красоты и ума, соединенных в одном

человеческом существе! Прекрасной формы голова указывала на силу и ум и благородно держалась на плечах, достойных Геркулеса. Лицо было овальное и особенно бледное, что придавало почти огненный блеск его темным глазам, которые имели удивительно обаятельный взгляд веселья и страдания вместе. Самой замечательной чертой его лица был рот: несмотря на безупречно красивый изгиб, он был тверд и решителен и не слишком мал. Я заметил, что в спокойном состоянии он отражал горечь, презрение и даже жесткость. Но когда улыбка озаряла его, он выражал – или даже казалось, что выражал, – нечто более утонченное, чем страсть, и с быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое необъяснимое нечто. При одном взгляде я заметил эти главные подробности в пленительной наружности моего нового знакомого, и, когда он выпустил мою руку, я почувствовал, словно знал его всю жизнь! И теперь, лицом к лицу с ним, при свете лампы, я вспомнил о действительной обстановке, окружающей меня: холодная низкая комната, недостаток огня, черная сажа, насыпанная на полу, мое потертое платье и жалкий вид в сравнении с этим царственно смотревшим индивидуумом, который носил на себе явную очевидность своих богатств. Его длинное пальто было подбито и оторочено великолепными соболями; он расстегнул его и швырнул небрежно, смотря на меня и улыбаясь.

– Я знаю, что пришел в нежеланный момент! – сказал он. – Со мною так всегда! Это мое особенное несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где им не рады, и потому я боюсь, что мои манеры оставляют желать лучшего. Если можете, то простите меня ради этого, – и он вынул адресованное мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Кэррингтона. – И позвольте мне сесть, пока вы будете читать мой документ.

Он придвинул стул и сел.

Я наблюдал его красивое лицо и свободную позу с новым восхищением.

– Не нужно мне никакого документа! – сказал я со всей искренностью, какую я теперь действительно чувствовал. – Я уже получил письмо от Кэррингтона, где он говорит о вас в самых теплых и признательных выражениях. Но факт тот… В самом деле, князь, вы должны извинить меня, если я кажусь сконфуженным или удивленным… Я ожидал встретить совершенного старика…

И я в замешательстве остановился от острого взгляда его блестящих глаз, смотрящих пристально на меня.

– В наше время никто не стар, дорогой сэр, – заявил он. – Даже бабушки и дедушки бодрее в пятьдесят лет, чем они были в пятнадцать. Теперь совершенно не говорят о годах в высшем обществе: это неучтиво, даже грубо. То, что непристойно, не упоминается, а годы сделались непристойностью, поэтому о них избегают говорить. Вы говорите, что ожидали увидеть старика? Хорошо, вы не разочарованы, я – стар. В сущности, вы не можете себе представить, как я стар!

Я рассмеялся на эту нелепость.

– Вы моложе, чем я, – сказал я, – или, по крайней мере, так выглядите.

– Ах, мой вид обманчив! – возразил он весело. – Я, как многие известные модные красавицы, старше, чем кажусь. Но прочтите же рекомендательное послание, что я принес вам. Я до тех пор не буду удовлетворен.

Желая любезностью загладить мою прежнюю грубость, я тотчас распечатал письмо моего друга и прочел следующее:

Дорогой Джеффри!

Податель сего, князь Риманец, весьма знатный и образованный джентльмен, происходит от одной древнейшей фамилии Европы, то есть, значит, мира. Тебе как любителю древней истории будет интересно узнать, что его предки были халдейскими принцами, которые потом поселились в Тире, откуда они перешли в Этрурию, где и оставались несколько столетий; последний потомок этого дома, чрезвычайно одаренная и гениальная личность, которую я, как моего хорошего друга, с удовольствием поручаю твоему вниманию. Некоторые тягостные обстоятельства заставили его покинуть родную провинцию и лишиться большей части своих владений, так что он – странник на значительном протяжении земли. Он много путешествовал и много видел и имеет широкую опытность в людях и делах. Он – поэт и очень талантливый музыкант, и, хотя занимается искусствами только для собственного удовольствия, я думаю, что ты найдешь его практическое знание в литературных делах весьма полезным в твоей трудной карьере. Я должен прибавить, что во всех отраслях науки он безусловный знаток. Желаю для вас обоих сердечной дружбы, остаюсь, дорогой

Джеффри,

Твой искренний

Джон Кэррингтон.

На этот раз он счел неуместным подписаться «Босслз», что меня почему-то глупо оскорбило. В этом письме было что-то натянутое и формальное, как если бы оно было написано под диктовку и по настоянию. Что дало мне эту мысль – не знаю. Я украдкой взглянул на моего безмолвного собеседника, он поймал мой нечаянный взгляд и возвратил его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное смутное недоверие к нему не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал:

– Это письмо, князь, усиливает мой стыд и сожаление, что я так дурно встретил вас. Никакое оправдание не может изгладить мою неучтивость, но вы не можете себе вообразить, как я огорчен, что принужден вас принять в этой нищенской конуре: совершенно не так я бы хотел приветствовать вас!..

И я остановился с возобновившимся чувством раздражения, вспомнив, как теперь действительно я был богат и вопреки этому был вынужден казаться бедным.

Между тем князь легким движением руки прервал мои замечания.

– Зачем огорчаться? – спросил он. – Скорее гордитесь, что вы можете избавиться от пошлых принадлежностей роскоши. Гений вырастает на чердаке, а умирает во дворце. Не есть ли это общепринятая теория?

– Я думаю, скорее избитая и неправильная, – ответил я. – Гению не мешало бы испытать хоть раз эффект дворца, обыкновенно же он умирает с голода.

– Верно! Но, умирая, так он думает, что многие через это насытятся потом! Шуберт погиб от нужды, но посмотрите, сколько выгоды принесли его сочинения для нотных издателей! Это – прекрасное распределение природы, что честные люди должны жертвовать собой, чтоб дать существование мошенникам.

– Вы говорите, конечно, саркастически? – спросил я. – В действительности вы не верите в это?

– О, верю ли я! – воскликнул он, блестя своими красивыми глазами. – Если б я мог не верить в то, чему меня научила моя опытность, что же осталось бы мне? Во всем нужно покоряться необходимости, как говорит старая поговорка. Нужно покориться, когда дьявол погоняет. Действительно, нельзя найти возражения на это верное замечание. Дьявол погоняет мир с кнутом в руке и, что довольно странно (принимая во внимание, что люди верят в существование Бога), преуспевает в управлении своей упряжкой с необыкновенным искусством!..

Его брови сдвинулись, и линия горечи около рта стала глубже и резче, и, вдруг опять светло улыбнувшись, он продолжал:

– Но не будем морализировать: мораль вызывает тошноту; каждый рассудительный человек ненавидит, чтоб ему говорили, чем он мог бы быть и что он есть. Я пришел для того, чтобы сделаться вашим другом, если вы позволите. И, чтоб покончить с церемониями, поедем ко мне в отель, где я заказал ужин.

Тем временем я совершенно очаровался его свободным обращением, красивой внешностью и мелодичным голосом; его сатирическое настроение подходило к моему. Я чувствовал, что мы отлично сойдемся с ним, и первоначальная досада на то, что он застал меня в таких бедственных обстоятельствах, как-то ослабела.

– С удовольствием! – ответил я. – Но прежде позвольте мне немного объяснить вам положение дел. Вы много слышали обо мне от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю из его письма ко мне, что вы пришли сюда из чувства приязни и желания мне добра. Я благодарю вас за это великодушное намерение! Я знаю, вы ожидали найти бедняка литератора, борющегося с ужасной нищетой и отчаянием, и часа два тому назад ваши ожидания вполне оправдались бы. Но теперь обстоятельства изменились: я получил известие, которое совершенно меняет мое положение; я получил сегодня вечером удивительный сюрприз…

– Надеюсь, приятный? – осведомился мягко мой собеседник.

Я улыбнулся.

– Судите сами! – и я протянул ему письмо адвокатов, которое уведомляло меня о неожиданно доставшемся мне богатстве.

Он бросил на него быстрый взгляд, затем сложил и возвратил мне с вежливым поклоном.

– Я должен поздравить вас, – сказал он, – что я и делаю. Хотя, конечно, это богатство, которое, по-видимому, радует вас, для меня кажется мелочью. Оно проживется в каких-нибудь восемь лет или менее. Чтобы быть богатым, по-настоящему богатым, в моем значении этого слова, нужно иметь около миллиона в год. Тогда можно надеяться избежать богадельни.

Он засмеялся, а я глупо уставился на него, не зная, как принять его слова: как правду или как праздное хвастовство. Пять миллионов называть мелочью!

Он продолжал, по-видимому, не замечая моего изумления:

– Неисчерпаемая алчность человека, мой дорогой сэр, никогда не может быть удовлетворена. Если он получит одно, он желает другое, и его вкусы вообще очень дороги. Например, несколько хорошеньких женщин, которым чужды предрассудки, скоро освободят вас от ваших пяти миллионов в погоне за одними бриллиантами. Скачки сделают это еще скорее. Нет-нет, вы не богаты – вы еще бедны, только ваши нужды не так докучливы, как прежде. И, сознаюсь, я сам этим разочарован, так как я шел к вам с надеждой сделать добро хоть раз в жизни и разыграть отца-кормильца для восходящего гения, и здесь я, по обыкновению, предупрежден. Это, знаете, странно, но тем не менее это факт: всюду, куда бы я ни пришел с особенным намерением в отношении человека, я всегда уже предупрежден! Действительно это тяжело!

Он остановился и поднял голову, прислушиваясь.

– Что это такое? – спросил он.

Это был скрипач рядом, игравший известную «Аве Мария».

– Как жалобно! – сказал он, презрительно пожав плечами. – Итак, миллионер и будущий знаменитый великосветский лев, я надеюсь, что нет препятствий

к предполагаемому ужину? И, может быть, в кафешантан потом, если будет расположение? Что вы на это скажете?

Он дружески хлопнул меня по плечу и посмотрел мне прямо в лицо; эти изумительные глаза, заключающие в себе и слезы, и огонь, глядели на меня светлым властным взглядом, который окончательно покорил меня. Я не пытался сопротивляться той особенной силе, притягивающей меня теперь к этому человеку, которого я только что встретил; ощущение было слишком сильно и приятно, чтобы бороться с ним. Только один момент я колебался, осматривая свое потертое платье.

– Я не в состоянии сопровождать вас, князь, – сказал я. – Я выгляжу скорее бродягой, чем миллионером.

– Вы правы! – согласился он. – Но будьте довольны! В этом отношении вы похожи на многих других крезов. Только гордые бедняки беспокоятся о хорошем платье; они и милые «легкомысленные» дамы скупают обыкновенно все красивое и элегантное. Плохо сидящий сюртук часто покрывает спину первого министра, и если вы увидите женщину, одетую в платье дурного покроя и цвета, вы можете быть уверены, что она страшно добродетельна, известна добрыми делами и, вероятно, герцогиня!

Он встал и притянул к себе свои соболя.

– Какое дело до платья, если кошелек полон! – продолжал он весело. – Пусть только в газетах напишут, что вы миллионер, и, без сомнения, какой-нибудь предприимчивый портной изобретет новый дождевой плащ а-ля Темпест такого же мягко-зеленого художественно-линялого цвета, как ваше теперешнее платье. А теперь поедем! Извещение ваших поверенных должно дать вам хороший аппетит, и я хочу, чтобы вы отдали справедливость моему ужину. Со мной здесь мой повар, а он не лишен искусства. Кстати, я надеюсь, что вы окажете мне услугу, позволив быть вашим банкиром, пока ваше дело не будет законно рассмотрено и утверждено.

Это предложение было сделано так деликатно и дружески, что я не мог не принять его с благодарностью, так как оно освобождало меня от временных затруднений. Я поспешно написал несколько строк квартирной хозяйке, извещая ее, что должные ей деньги будут ей высланы по почте на следующий день;

затем, спрятав отвергнутую рукопись, мое единственное имущество, в боковой карман, я потушил лампу и с новым, так неожиданно обретенным другом покинул навсегда мое жалкое жилище и связанную с ним нищету. Я не думал тогда, что придет время, когда я оглянусь на дни, проведенные в этой маленькой невзрачной комнате, как на лучший период моей жизни, когда я посмотрю на испытанную горькую бедность как на руль, которым святые ангелы направляли меня к высоким и благородным целям, – когда я в отчаянии буду молиться с безумными слезами, чтобы быть тем, чем я был тогда! Я не знаю, хорошо или дурно, что наше будущее закрыто от нас. Стали ли бы мы уклоняться от зла, если бы знали его результаты? Это вопрос сомнительный; во всяком случае, в эту минуту я был действительно в блаженном неведении. Я весело вышел из мрачного дома, где я жил так долго между разочарованиями и трудностями, повернув теперь к ним спину с таким чувством облегчения, которое не может быть выражено словами, – и последнее, что я слышал, был жалобный вопль мирной мелодии, словно прощальный крик неизвестного и невидимого скрипача.

IV

Перед подъездом нас ожидала карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков в серебряной сбруе. Великолепные чистокровки били землю и грызли удила от нетерпения; при виде хозяина щегольской ливрейный лакей открыл дверцы, почтительно дотронувшись до шляпы; по настоянию моего спутника я вошел первым и, опустившись на мягкие подушки, почувствовал приятное сознание роскоши и могущества в такой силе, что казалось, будто я уже давно оставил позади себя дни невзгод и печали. Ощущения голода и счастия боролись во мне, и я находился в неопределенном и легкомысленном состоянии, присущем долгому посту, когда абсолютно все кажется недействительным или неосязаемым. Я знал, что я, собственно, не могу ощутить достоверности моего изумительного счастья, пока мои физические нужды не будут удовлетворены. И я был, так сказать, в колебательном состоянии. Мой мозг кружился вихрем, мои мысли были смутны и бессвязны, и сам я казался себе в каком-то причудливом сне, от которого я должен был немедленно пробудиться.

Карета на резиновых шинах бесшумно катилась, только слышался стук копыт быстро мчавшихся лошадей.

Я видел в полумраке блестящие темные глаза моего нового друга, смотревшие пристально на меня с особенно напряженным вниманием.

– Не чувствуете ли вы, что свет уже у ваших ног, как мяч в ожидании удара ноги? – спросил он полушутя, полуиронически. – Свет так легко приводится в движение. Умные люди во все века старались сделать его менее смешным, с тем результатом, что он продолжает предпочитать мудрости безрассудство. Как мяч или, скажем, как волан, готовый полететь куда угодно и как угодно, лишь бы ракетка была из золота!

– Вы говорите с какой-то горечью, князь, – сказал я. – Но, без сомнения, у вас большая опытность в людях?

– Большая, – повторил он выразительно. – Мое царство очень обширно.

– Значит, вы властелин! – воскликнул я с некоторым удивлением. – Ваш титул не есть только почетный титул?

– О, по правилам вашей аристократии он только почетный титул, – быстро ответил он. – Когда я сказал, что мое царство обширно, я разумел, что властвую везде, где люди подчинены силе богатства. С этой точки зрения не ошибусь ли я, называя мое царство обширным? Не есть ли оно почти беспредельно?

– Я замечаю, вы циничны, – сказал я. – Хотя, конечно, вы верите, что не все можно купить за деньги, – честь и добродетель, например?

Он оглядел меня с загадочной улыбкой.

– Я полагаю, что честь и добродетель существуют, – ответил он, – и, существуя, конечно, не могут быть куплены. Но моя опытность научила меня, что я всегда и все могу купить. То, что называется большинством людей честью и добродетелью, не есть ли самые изменчивые чувства, какие можно себе вообразить? Назначьте солидную сумму, и они сделаются подкупны и развратятся в одно мгновение ока! Признаюсь, я раз встретил случай неподкупной честности, но только раз. Я могу встретить опять, но это подлежит большому сомнению. Но возвратимся ко мне – прошу вас, не думайте, что я хвастаюсь перед вами или выдаю себя под фальшивым титулом. Поверьте мне,

что я настоящий князь и такого рода, каким ни одна из ваших старейших фамилий не может похвалиться; но мое царство разрушено и мои подданные рассеяны между всеми нациями; анархия, нигилизм и политические смуты вообще заставляют меня скорее умалчивать о моих делах. К счастью, у меня деньги в изобилии, и только ими я прокладываю себе путь. Когда мы будем лучше знакомы, вы узнаете более о моей личной истории. У меня много других имен и титулов, кроме обозначенного на карточке, но я ношу самое простое из них, так как большинство людей искажает произношение иностранных имен. Мои интимные друзья обычно пропускают титул и зовут меня просто Лючио.

– Это ваше крестное имя? – начал я.

– Нисколько, у меня нет крестного имени, – прервал он поспешно и гневно. – Я не христианин.

Он говорил с таким нетерпением, что на минуту я смутился, не зная, что ответить.

– В самом деле? – пробормотал я смущенно.

Он расхохотался.

– В самом деле! Это все, что вы нашли сказать! В самом деле и опять в самом деле. Вы не христианин, и в действительности – никто: люди претендуют ими быть, и в этом лицемерии, достойном проклятия, они более богохульны, чем падший дьявол! Но я не притворяюсь, у меня только одна вера!

– И это?..

– Глубокая и страшная вера! – сказал он дрожащим голосом. – И хуже всего, что она правильна, правильна, как машина мироздания! Но говорить об этом – кстати, когда чувствуешь унылость духа и желание побеседовать о мрачных и страшных предметах, а теперь мы прибыли уже к месту назначения, и главной заботой в нашей жизни (это главная забота в жизни большинства людей) должен быть вопрос о нашей пище.

Карета остановилась, и мы вышли. При виде пары вороных и серебряной сбруи швейцар отеля и двое-трое слуг бросились к нам, но князь прошел в вестибюль, не замечая никого из них, и обратился к человеку степенного вида, своему собственному лакею, который вышел навстречу ему с глубоким поклоном.

Я пробормотал что-то вроде желания взять для себя комнату в отеле.

– О, мой человек сделает это для вас, – сказал он небрежно. – Дом далеко не полон; во всяком случае, все лучшие комнаты свободны, а, конечно, вы хотите одну из лучших.

Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками, но, услышав эти слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством: отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего «высшего» общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги.

Если вы бедны и плохо одеты – вас оттолкнут, но если вы богаты – вы можете носить потертое платье, сколько вам угодно: за вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем.

Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом, кроме того – спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг.

Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним.

Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение, но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен,

будучи быстрым, внимательным и почтительным, так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль; я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра.

Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.

– Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство? – спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.

– Конечно, – возразил я, – хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе.

– Верно! Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?

Это замечание рассердило меня.

– Вы считаете мою голову пустой? – спросил я, несколько оскорбленный.

– Не теперь, мой дорогой Темпест: не позволяйте выпитому токайскому или коньяку, который мы пьем, говорить так поспешно за вас. Уверяю, что я не считаю вашу голову пустой; напротив, я убежден, как я и слышал, что ваша голова была и есть полна идей – прекрасных идей, оригинальных идей, которых не желает мир условной критики. Но будут ли эти идеи продолжать пускать ростки в вашем мозгу или полный кошелек остановит их? – вот в чем вопрос. Оригинальность и вдохновение, странно сказать, редко одаряют миллионера. Предполагается, что вдохновение приходит свыше, а деньги снизу! Между тем в вашем случае и то и другое – и вдохновение и оригинальность – могут далее процветать и давать плоды, я уверен, что могут. Хотя часто случается, что, когда мешок денег выпадает на долю честолюбивого гения, Бог покидает его,

а черт вступает в свои права. Вы никогда об этом не слыхали?

– Никогда! – ответил я, улыбаясь.

– Конечно, эти слова глупы и звучат смешно в наш век, когда не верят ни в Бога, ни в черта. Между тем они означают, что должно выбирать между верхом и низом: гений есть Верх, а деньги – Низ; нельзя в одно и то же время летать и пресмыкаться.

– Не верится, чтобы деньги заставляли человека пресмыкаться, – сказал я. – По-моему, это единственное средство, необходимое, чтобы усилить его дарования и поднять его до самой большой высоты.

– Вы так думаете?

Князь зажег сигару с важным и озабоченным видом.

– Тогда я боюсь, что вы мало сведущи по части, как я называю, естественной психологии. То, что принадлежит земле, и влечет к земле. Вы это, конечно, понимаете? Золото принадлежит земле; вы добываете его оттуда, вы пользуетесь им; этот металл – довольно существенный. Гений является, никто не знает откуда, – вы не можете ни откопать его, ни сделать, а будете стоять и дивиться на него; он – редкий гость и капризен, как ветер, и обыкновенно производит грустное разрушение между условностями человечества. Это, как я сказал, «высшее» над земными вкусами и понятиями, и те, кто имеет его, всегда живут в неведомых возвышенных сферах. Но деньги – это удобство, очень искусно выровненное с поверхностью земли; когда вам довольно его, вы твердой походкой спускаетесь вниз и внизу остаетесь!

Я засмеялся.

– Честное слово, вы очень красноречиво проповедуете против богатства! – сказал я. – Вы сами необычайно богаты. Разве вы досадуете на это?

– Нет, я не досадую, так как досадовать было бы бесполезно, – возразил он. – А я никогда не трачу свое время. Но я вам говорю правду; гений и большое богатство не живут вместе. Например, я, вы не можете себе представить, какие

громадные способности я имел когда-то! Давно, раньше, чем я сделался властелином сам!

– Я уверен, что вы их имеете еще теперь, – утверждал я, глядя на его благородное лицо и прекрасные глаза.

Странная тонкая улыбка, которую я подмечал уже не раз прежде, осветила его лицо.

– Вы хотите говорить мне комплименты! – сказал он. – Вам, как и многим, нравится моя внешность, но, в конце концов, ничто так не обманчиво, как наружность. Причина этого та, что, как только мы переходим детство, мы стараемся быть не тем, что есть, и таким образом от постоянной практики с юных лет мы достигаем того, что наша физическая форма скрывает совершенно наше настоящее «я». В самом деле, это и умно, и искусно, потому что каждый индивидуум защищен стеной своего тела от шпионства друзей или врагов, каждый человек есть одинокая душа, заключенная в собственноручно сделанной тюрьме; когда он совершенно один, он знает и часто ненавидит себя, – иногда он даже пугается лютого чудовища, спрятанного за его телесной маской, и старается забыть его страшное присутствие в пьянстве и распутстве, что и бывает иногда со мной. Вы бы не подумали этого обо мне?

– Никогда, – быстро ответил я.

Что-то в его голосе и взгляде несказанно тронуло меня.

– Вы клевещете на себя!

Он тихо засмеялся.

– Может быть! – небрежно уронил он. – Но это заставит вас подумать обо мне, что я не хуже большинства людей! Теперь вернемся к вопросу о вашей литературной карьере. Вы сказали, что написали книгу; отлично, напечатайте ее и посмотрите результат – если будет «удача», это уже нечто. А способов устроить эту «удачу» много. О чем ваша история? Надеюсь, что-нибудь нескромное?

– Разумеется, нет, – возразил я горячо. – Это повесть о благороднейших образцах жизни и о самых возвышенных стремлениях. Я писал ее с намерением поднять и очистить мысли моих читателей и хотел по мере возможности утешить тех, кто страдает и грустит…

Риманец улыбнулся с состраданием.

– Ваша книга не годится, – прервал он. – Уверяю вас, что она не годится. Она не соответствует духу времени. Возможно, ее и приняли бы, если бы вы поместили в ней «первую ночь» с описанием превосходного ужина и всех последствий опьянения. Иначе бесполезно. Для того чтобы книга имела успех ради себя самой, ей незачем пытаться быть литературной, она должна быть только неприличной. Настолько неприличной, насколько вы можете это сделать, не оскорбляя передовой женщины. Это откроет вам широкое поле. Опишите в подробностях любовную интригу, распространитесь о рождении детей – словом, говорите о мужчинах и женщинах как о животных, существующих ради единственной цели размножения, и успех ваш будет громадный. Нет ни одного критика, который бы не одобрил вас, нет ни одной пятнадцатилетней школьницы, которая бы не пожирала глазами ваши страницы в безмолвии своей девственной спальни!

Его взгляд сверкал такой злой насмешкой, что я, ошеломленный, не мог найти слов для ответа, и он продолжал:

– Что вам пришло в голову, дорогой Темпест, писать книгу о «благороднейших образцах жизни», как вы говорите? На этой планете нет благородных образцов жизни; во всем подлость и торговля. Человек – ничтожество, и все его цели ничтожны, как он сам. Ибо благородные образцы жизни ищут других миров. Другие миры есть! Опять-таки люди не желают возвышать и очищать свои мысли романами, которые они читают для удовольствия: для этого они ходят в церковь и очень скучают в продолжение службы. И зачем вы хотите утешать людей, которые обыкновенно только благодаря своей глупости причиняют себе муки? Они не хотели помочь вам. Они не дали вам шести пенсов, чтобы спасти вас от голода. Мой друг, оставьте ваше сумасбродство вместе с бедностью. Живите для себя. Если вы сделаете что-нибудь для других, эти другие только ответят вам самой черной неблагодарностью; примите мой совет и не жертвуйте своими собственными интересами для каких бы то ни было соображений!

Он встал из-за стола и говорил, стоя спиной к яркому огню и спокойно покуривая сигару. А я смотрел на его красивую фигуру и лицо, терзаясь мучительным сомнением, омрачившим мое восхищение.

– Если бы вы не были так прекрасны, я бы сказал, что вы бессердечны, – промолвил я наконец. – Но ваши черты – прямая противоположность вашим словам. В действительности у вас нет того равнодушия к человечеству, которое вы силитесь присвоить себе. Вся ваша наружность говорит о великодушии, которое вы не можете победить, если бы даже хотели. Кроме того, разве вы не пытаетесь всегда делать добро?

Он улыбнулся.

– Всегда! То есть я всегда занят работой, стараясь удовлетворить людские желания. Хорошо ли это или дурно с моей стороны, подлежит испытанию. Людские желания беспредельны; единственно, чего ни один из них, по-видимому, не хочет, насколько я заметил, это прервать со мной знакомство!

– Еще бы, конечно, нет! Встретив вас, это невозможно! – И я засмеялся нелепости этой мысли.

Он искоса бросил на меня загадочный взгляд.

– Их желания не всегда доброжелательны, – заметил он, повернувшись, чтобы сбросить пепел от своей сигары за решетку камина.

– Но, безусловно, вы не потворствуете им в их пороках! – воскликнул я, все еще смеясь. – Это значило бы разыграть роль благодетеля слишком основательно!

– Я вижу, мы утонем в сыпучих песках теории, если пойдем дальше, – сказал он, – вы забываете, мой друг, что никто не может разрешить, что такое порок и что добродетель. Они, как хамелеон, в разных странах принимают разные цвета. Авраам имел две или три жены и несколько наложниц, а он был добродетельный человек, согласно священному учению, тогда как лондонский лорд Том Нобби в наше время имеет одну жену и несколько наложниц и, в сущности, очень схож в других свойствах с Авраамом, но между тем он считается ужасной личностью. Переменим разговор, иначе мы никогда не кончим. Что нам делать с остатком вечера? Есть в Тиволи хорошо сложенная

интересная девица, нашедшая себе покровительство у расслабленного маленького герцога; стоит посмотреть на ее удивительное кривлянье, благодаря которому она втирается в английскую аристократию, чтоб занять определенное положение. Или вы устали и предпочитаете отдохнуть?

Сказать правду, я был совершенно утомлен волнениями дня – и столько же нравственно, сколько физически. Моя голова была тяжела от вина, от которого я совсем отвык.

– В самом деле, мне скорее всего хотелось бы лечь спать, – сознался я, – но как же относительно моей комнаты?

– О, Амиэль позаботился об этом; мы спросим его.

И он позвонил; его лакей сейчас же появился.

– Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?

– Да, ваше сиятельство. Апартамент в этом коридоре, почти напротив. Комната обставлена не так, как следует, но я, настолько мог, сделал ее комфортабельной для ночи.

– Благодарю, – сказал я, – я вам очень обязан.

Он почтительно поклонился.

– Благодарю вас, сэр.

Он удалился, и я сделал движение, чтобы пожелать моему хозяину покойной ночи.

Он взял мою протянутую руку и держал в своей некоторое время, пытливо глядя на меня.

– Вы мне нравитесь, Джеффри Темпест, – сказал он. – И потому, что вы мне нравитесь, и потому, что, я думаю, в вас есть нечто высшее, чем только земное животное, я хочу предложить вам то, что вы, может быть, найдете странным.

Вот что: если я не нравлюсь вам, скажите это сейчас же, и мы разойдемся теперь, прежде чем у нас будет время узнать больше друг друга, и я постараюсь больше не встречаться на вашем пути, разве вы сами станете искать меня. Если же, наоборот, я нравлюсь вам, если вы находите мой характер и образ мыслей сходными с вашими, дайте мне обещание, что вы будете моим другом и товарищем на некоторое время, на несколько месяцев, во всяком случае. Я вас введу в лучшее общество и представлю вас самым красивым женщинам Европы, как и самым блестящим мужчинам. Я их всех знаю и, думаю, могу быть вам полезен. Но если в вас таится хоть малейшее отвращение ко мне, – здесь он остановился и продолжал с необыкновенной торжественностью, – во имя Господа, не скрывайте его, и я уйду, потому что, клянусь вам, я не тот, кем кажусь!

Сильно потрясенный его странным взглядом и странной манерой, я колебался один момент, и этот момент, я знал, решил мою судьбу. Это была правда: во мне волновалось какое-то недоверчивое и отталкивающее чувство к этому обаятельному, но циничному человеку, и он, по-видимому, угадал его. Но теперь все подозрения разрушились, и я сжал его руку с новым приливом задушевности.

– Мой друг, ваше предупреждение пришло слишком поздно, – сказал я радостно. – Кто бы вы ни были или каким бы вы себя ни считали, я вас нахожу крайне симпатичным и счастлив, что встретил вас. Мой старый товарищ Кэррингтон действительно оказал мне услугу, познакомив нас, и уверяю вас, что я буду гордиться вашей дружбой. Вам, кажется, доставляет наслаждение унижать себя? Но вы знаете старую поговорку: «Не так страшен черт, как его малюют!»

– И это верно, – промолвил он задумчиво. – Бедный черт! Его проступки, без сомнения, преувеличены. Итак, мы друзья?

– Надеюсь, не я первый нарушу договор?

Его темные глаза внимательно остановились на мне, хотя, казалось, улыбка таилась в них.

– Договор – хорошее слово, – сказал он. – Итак, будем считать это договором. Имея теперь состояние, вы обойдетесь без материальной помощи, но я думаю,

что могу быть вам полезен, чтобы ввести вас в общество. И, конечно, вы захотите влюбиться, если уже не влюблены?

– Нет, – быстро ответил я и сказал правду: – До сих пор я не встретил ни одной женщины, которая удовлетворяла бы моим требованиям от красоты.

Он разразился хохотом.

– Честное слово, у вас нет недостатка в смелости, – сказал он. – Только совершенная красота удовлетворит вас? Но примите во внимание, мой друг, что хотя вы красивый и статный молодой человек, но сами не вполне Аполлон.

– Не в том дело, – заметил я. – Мужчина должен выбирать себе жену внимательным глазом, для своего личного удовлетворения, так же как он выбирает лошадь или вино, совершенство или ничего.

– А женщина? – спросил Риманец, и глаза его блеснули.

– Женщина, в сущности, не имеет права выбора, – ответил я; так как это был один из моих любимых доводов, то я с удовольствием говорил. – Она должна подчиняться, когда ее хотят. Мужчина – всегда мужчина, а женщина только принадлежность мужчины и без красоты не может рассчитывать ни на его восхищение, ни на его поддержку.

– Правильно! Весьма правильно и логично! – воскликнул он, сделавшись на минуту чрезвычайно серьезным. – Я сам не симпатизирую новым идеям об интеллектуальности женщины. Она только самка человека, она не имеет собственной души, кроме той, которая является рефлексом его души, и, будучи лишенной логики, она не способна составлять правильное суждение о вещах. Весь обман поддерживается этим истерическим существом, если принять во внимание, какое низшее создание она собой представляет; любопытно проследить, сколько зла она причинила миру, разрушая планы умнейших советников и королей, которые, без сомнения, должны были бы господствовать над ней! А в настоящее время она сделалась больше, чем когда-нибудь, неукротимой.

– Это только проходящая фаза, – возразил я небрежно, – придуманная несколькими несимпатичными типами женского пола. Я так мало интересуюсь

женщинами, что сомневаюсь, женюсь ли я когда-нибудь.

– У вас вдоволь времени для размышления; пока же забавляйтесь с красавицами en passant, – сказал он, внимательно следя за мной. – А тем временем я покажу вам всевозможные брачные рынки в мире, хотя самый большой из всех, конечно, наша столица. Чудесные торги предстоят вам, милый друг! Образчики удивительных блондинок и брюнеток идут, в сущности, очень дешево. Мы рассмотрим их на досуге. Я рад, что вы сами решили, что мы будем товарищами, потому что я очень горд – могу сказать, дьявольски горд, – никогда не остаюсь в обществе человека, если он выразит хоть малейшее желание избавиться от меня. Покойной ночи! [1 - Походя (фр.).]

– Покойной ночи! – ответил я. Мы пожали снова друг другу руки, и прежде, чем мы разъединили их, молния вдруг ярко сверкнула, сопровождаемая страшным раскатом грома. Электричество погасло, и только огонь в камине освещал наши лица. Я был немного ошеломлен и смущен: князь оставался совершенно равнодушным, и его глаза блестели в темноте, как глаза кошки.

– Какая гроза! – заметил он. – Такой гром зимой – довольно необычное явление. Амиэль!

Лакей вошел, его злое лицо походило на белую маску среди мрака.

– Эти лампы погасли, – сказал его господин, – странно, что цивилизованное человечество еще не вполне научилось обращаться с электрическим светом. Можете вы поправить их, Амиэль?

– Да, ваше сиятельство.

И через несколько минут, благодаря искусным манипуляциям, которых я не понял и не мог видеть, хрустальные рожки засветились с новым блеском.

Грянул другой удар грома в сопровождении сильнейшего ливня.

– В самом деле, удивительная погода для января, – сказал Риманец, протягивая мне руку. – Покойной ночи, мой друг! Спите спокойно!

– Если гнев стихии мне позволит! – улыбнулся я.

– О, какое дело до стихии! Человек почти господствует над ней, или скоро так будет. Амиэль, покажите мистеру Темпесту его комнату.

Амиэль повиновался и, перейдя в коридор, ввел меня в большой роскошный апартамент, богато убранный и ярко освещенный. Уютным теплом пахнуло на меня, когда я вошел. И я, который с детства не видал такой роскоши, почувствовал себя более чем когда-либо подавленным от радостного сознания моего неожиданного, необыкновенного счастия.

Амиэль почтительно ждал, время от времени украдкой бросая на меня взгляды, в которых, мне казалось, я читал нечто насмешливое.

– Чем могу служить вам, сэр? – спросил он.

– Благодарю вас, вы мне не нужны, – ответил я, стараясь придать небрежную интонацию своему голосу.

Так или иначе, но я чувствовал, что этого человека необходимо держать на своем месте.

– Вы были очень внимательны, я этого не забуду.

Легкая улыбка скользнула по его губам.

– Премного благодарен, сэр. Покойной ночи!

И он удалился, оставив меня одного. Я ходил взад и вперед по комнате, скорее машинально, чем сознательно, пробуя думать, пробуя разобраться в изумительных происшествиях дня, но в моем мозгу еще царил хаос, и единственным рельефным образом являлась замечательная личность моего нового друга Риманца.

Его необыкновенная внешность, обаятельное обращение, его любопытный цинизм, соединенный с глубоким чувством, которому я не мог найти имени; все ничтожные, но тем не менее редкие особенности его происхождения

и характера преследовали меня и как бы сделались неразрывно смешанными со мной и относящимися ко мне обстоятельствами.

Я разделся перед огнем, прислушиваясь к дождю и грому, который теперь затихал в сердитых отголосках.

– Джеффри Темпест, свет открылся перед тобой! – сказал я, обращаясь к самому себе. – Ты молод, здоров, недурен собой и умен, вдобавок к этому теперь ты имеешь пять миллионов денег и богатого князя другом. Чего же больше ты желаешь от судьбы и фортуны? Ничего, кроме славы! А этого ты достигнешь легко, потому что в наше время даже слава покупается, как любовь. Твоя звезда восходит, и для тебя, мой мальчик, окончилась литературная каторга! Пользуйся покоем и удовольствием в остальной жизни. Ты счастливец! Наконец твой день пришел!

Я бросился на мягкую постель и старался заснуть, но в полудремоте я еще слышал в отдалении глухие отголоски грозы. И раз мне почудился голос князя, звавший «Амиэль! Амиэль!» – с дикостью, похожей на рев рассвирепевшего ветра. В другой раз я внезапно пробудился от глубокого сна под впечатлением, что кто-то подошел и смотрит внимательно на меня.

Я сел на кровать и вглядывался в темноту, так как огонь в камине погас.
Я повернул ключик маленькой электрической лампочки около меня, и комната осветилась, но никого не было.

Между тем воображение продолжало играть со мной, прежде чем я снова заснул, и мне казалось, что я слышал около себя свистящий шепот: «Тише! Не беспокой его. Пусть безумец спит в своем безумстве!»

V

На следующее утро, вставая, я узнал, что его сиятельство, как называли князя Риманца его слуги и служащие в отеле, уехал верхом в парк, оставив меня одного на утренний завтрак. Поэтому я сошел в общую залу, где мне прислуживали с раболепством, несмотря на мое потертое платье, которое я еще

принужден был носить, не имея перемены. Когда мне будет угодно завтракать? В котором часу я буду обедать? Останусь ли я в своем апартаменте? Или он не был достаточно удовлетворителен? Может быть, я предпочту «отделение», подобное тому, какое занимает его сиятельство? Все эти почтительные вопросы сначала удивляли меня, а потом стали забавлять. Какие-нибудь таинственные агенты, очевидно, распространяли слух о моих богатствах, и это был первый результат. В ответ я сказал, что ничего не могу решить и в состоянии дать определенные распоряжения не раньше как через несколько часов, а пока я оставляю комнату за собой. После завтрака я собрался идти к моим поверенным, и только что приказал позвать экипаж, как увидел моего друга, возвращавшегося с прогулки. Он сидел верхом на великолепной гнедой лошади. Судя по ее дикому взгляду и напряженным ногам, она недавно скакала галопом и теперь горячилась под сдерживающей ее властной, твердой рукой ездока. Она прыгала и вертелась между кебами и телегами довольно рискованным образом, если б ее господином не был Риманец. Днем он выглядел несравненно красивее; легкий румянец окрасил его естественную бледность лица, и его глаза блестели от моциона и удовольствия.

Я ждал его приближения, так же как и Амиэль, который обыкновенно появлялся в коридоре отеля в момент прибытия своего хозяина. Риманец, заметив меня, улыбнулся и дотронулся рукояткой хлыста до шляпы в виде поклона.

– Вы долго спите, Темпест! – сказал он, спрыгивая с лошади и бросая повод груму, который сопровождал его. – Завтра вы должны поехать со мной и присоединиться к «Liver Brigade», как говорится на модном жаргоне. Раньше считалось в высшей степени неделикатным называть «печень» или другие органы внутреннего механизма, но теперь все это прошло, и мы находим особенное удовольствие рассуждать о некрасивых медицинских предметах. И в «Liver Brigade» вы одним взглядом увидите всех интересных господ, продавших свою душу дьяволу, – людей, которые наедаются до того, что готовы лопнуть, а потом важно парадируют на хороших конях – слишком хороших, чтобы носить на себе такое скверное бремя, – в надежде выгнать дьявола из своей зараженной крови. Они думают, что я один из них, но они ошибаются. [2 - «Команда печени» (англ.).]

Он похлопал лошадь, и грум отвел ее: от быстрого бега мыло покрывало пятнами ее лоснящуюся грудь и передние ноги.

– Зачем же вы присоединяетесь к процессии? – спросил я, смеясь и глядя на него с нескрываемым одобрением; никогда он не казался мне так удивительно сложенным, как в тот раз, в своем ловко сидевшем на нем верховом костюме. – Вы обманываете их!

– Да, – ответил он, – и, знаете ли, в этом случае я не единственный в Лондоне. Куда вы собрались?

– К тем поверенным, что мне написали вчера вечером. Имя фирмы – Бентам и Эллис. Чем раньше я побеседую с ними, тем лучше. Как вы думаете?

– Да, но вот что, – и он отвел меня в сторону, – вы должны иметь при себе наличные. Для виду будет нехорошо, если вы сейчас же обратитесь за деньгами, и, в сущности, нет никакой необходимости объяснять этим законникам, что их письмо застало вас на пороге голодной смерти. Возьмите этот бумажник – помните, вы позволили мне быть вашим банкиром – и по дороге зайдите к какому-нибудь известному портному и приоденьтесь.

Он повернулся и пошел быстрыми шагами, а я поспешил за ним, тронутый его добротой.

– Постойте, Лючио!

Я называл его в первый раз этим именем. Он сейчас же остановился.

– Ну?

Он внимательно на меня посмотрел и улыбнулся.

– Вы не даете мне времени говорить, – сказал я тихо, так как мы стояли в общем коридоре отеля. – Дело в том, что у меня есть деньги, то есть я могу их сейчас получить. Кэррингтон прислал мне чек на пятьдесят фунтов в своем письме, я забыл вам об этом сказать. Он был так добр, одолжив их мне. Возьмите их как гарантию за этот бумажник. Кстати, сколько в нем заключается?

– Пятьсот банковыми билетами.

– Пятьсот! Дорогой друг, мне не нужно столько. Это слишком много!

– В наше время лучше иметь слишком много, чем слишком мало! – быстро возразил он. – Дорогой Темпест, не делайте серьезного вопроса из этого! Пятьсот фунтов, в сущности, ничто. Вы можете истратить их на один туалетный несессер, например. Лучше отошлите назад Джону Кэррингтону его чек; я не очень верю в его великодушие, принимая во внимание, что он открыл руду, стоящую около ста тысяч фунтов, за несколько дней перед моим отъездом из Австралии.

Я выслушал это с большим удивлением и, должен сознаться, также с некоторым чувством обиды. Откровенный и великодушный характер моего старого товарища Босслза, казалось, вдруг померк в моих глазах. Отчего в письме он ни слова не сказал о своей удаче?

Испугался ли он, что я буду беспокоить его дальнейшими займами? Кажется, мой вид выражал мои мысли, потому что Риманец, наблюдавший за мной, тотчас прибавил:

– Разве он ничего не упомянул о своем счастии? Это не по-дружески, но, как я уже говорил, деньги часто портят человека.

– О, я полагаю, он не имел намерения пренебречь мной, – поспешил я сказать с принужденной улыбкой. – Без сомнения, это послужит темой для следующего письма. Что же касается этих пятисот фунтов…

– Оставьте их, мой милый, оставьте их! – произнес он нетерпеливо. – Зачем вы говорите о гарантии? Не получил ли я вас, как гарантию?

Я засмеялся.

– Ну да, теперь я вполне благонадежен и не собираюсь бежать.

– От меня? – спросил он с полухолодным, полуласковым взглядом. – Нет, не думаю!

Он сделал легкое движение рукой и оставил меня, а я, положив кожаный бумажник с билетами в боковой карман, кликнул кеб и покатил на Басингхолл-стрит, где мои поверенные ждали меня.

Приехав к месту назначения, я велел доложить о себе и был тотчас же принят с величайшим почтением двумя маленькими человечками, представлявшими собой «фирму». По моей просьбе они послали клерка вниз, чтобы расплатиться и отослать кеб, и я, открыв бумажник Лючио, попросил их разменять билет в десять фунтов на золото и серебро, что они сделали с большой охотой.

Затем мы вместе занялись делом. Мой скончавшийся родственник, которого я, как себя помню, никогда не видал, но который видел меня сироткой на руках кормилицы, оставил мне безусловно все, что имел, включая несколько редких коллекций картин и драгоценностей. Его завещание было так кратко и ясно, что не было возможности «мудрствовать лукаво» над ним, и мне было объявлено, что через неделю или дней десять самое большее все приведется в порядок и будет в моем исключительном распоряжении.

– Вы очень счастливый человек, мистер Темпест, – сказал мне старший компаньон, мистер Бентам, складывая последнюю из рассмотренных бумаг. – В ваши годы это княжеское наследство принесет вам или большое удовольствие, или большое проклятие, – никогда не знаешь! Обладание таким громадным богатством налагает большую ответственность.

Меня забавляла дерзость этого слуги закона, осмелившегося рассуждать нравоучительно о моем счастии.

– Многие охотно бы приняли эту ответственность и поменялись бы со мной местами, – сказал я с вызывающим видом, – вы сами, например?

Я знал, что это замечание было дурного тона, но я сделал его умышленно, чувствуя, что не его дело проповедовать мне об ответственностях, связанных с богатством. Однако он не обиделся; он только искоса бросил на меня внимательный взгляд, похожий на взгляд размышляющей вороны.

– Нет, мистер Темпест, нет, – сказал он сухо, – не думаю, чтоб я с вами поменялся местом. Я доволен тем, что я есмь. Моя голова – мой банк и приносит мне совершенно достаточные проценты, чтоб жить. Это все, чего я желаю. Жить не

нуждаясь и честно трудиться – с меня довольно. Я никогда не завидовал богатству.

– Мистер Бентам философ, – заметил его компаньон мистер Эллис, улыбаясь. – В нашей профессии, мистер Темпест, мы видим так много превратностей судьбы, что, следя за переменчивым счастьем наших клиентов, сами научаемся довольствоваться малым.

– Я этому не научился до сих пор, – сказал я весело. – Но в настоящий момент я признаю себя удовлетворенным.

Каждый из них поклонился мне легким официальным поклоном, и мистер Бентам пожал мне руку.

– Дело окончено, позвольте мне поздравить вас, – сказал он вежливо, – конечно, во всякое время, когда бы вы ни пожелали вверить ваши дела в другие руки, мой компаньон и я с совершенной готовностью отретируемся. Ваш покойный родственник имел к нам большое доверие…

– И я также, уверяю вас! – быстро прервал я. – Вы сделаете мне одолжение, продолжая вести мои дела, как вы это делали для моего родственника, и будьте уверены в моей благодарности.

Оба маленькие человечка поклонились опять, и на этот раз мистер Эллис пожал мне руку.

– Мы сделаем для вас все, что в наших силах, мистер Темпест. Не правда ли, Бентам?

Бентам важно кивнул головой.

– А теперь, как вы думаете, следует ли нам сказать это, Бентам, или не следует?

– Может быть, – ответил сентенциозно Бентам, – будет лучше сказать это.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Походя (фр.).

2

«Команда печени» (англ.).

Купить: https://tellnovel.com/mariya-korelli/skorb-satany-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити